

в мыслях вы не были способны, не то что в каких-то витринных акциях. Все я тогда подгонял под трафареты. Упрощал одно, усложнял другое. Любовался придуманными образами... А листья из левой так и падали, так и падали... Ничего такого не имели вы в виду, просто хотели видеть свою несбывшуюся динамическую фантазию, свой наивный джаз-оркестр с моторчиком.

Шел 65-ый год, мне пора было готовиться в институт, и я бросил старика вместе с его допотопной динамической витриной... В Одессе поступить не получилось, национальные проблемы встали во весь рост, и я уехал в Воронеж, который был полон студентами с Украины. Когда я вернулся, Валя Мячина уже укатила с мужем в Москву, пятидесятилетний (уже шестидесятилетний) художник уволился. Вдруг заболел и за какие-то полгода сгорел мечтатель Квазимоня, так и не узнав, что получил разрешение на выезд. Керамические плитки заменили мраморной крошкой... Но в самой главной витрине сидел бодрый джаз-оркестр во фраках и с бабочками и наяривал что-то, механически шевеля руками и головами. Самое главное случилось без меня. Григорий Аронович, мне одному доверивший свою мечту, соорудил все сам. Сам доказывал, пробивал, доставал, устанавливал...

Гойхман очень постарел, потух... Сидел дома. Меня встретил радостно, но быстро остыл. Оживился один раз, когда вспомнил, что мой отец фотограф.

— Попроси его, пусть сфотографирует мне динамическую витрину, они же спят и видят ее разобрать. У меня уже нет сил с ними бороться. Я тут встретил как-то твою маму, просил ее, но я не вижу результатов. Что она поделывает?

- Хорошо, Григорий Аронович, я передам. А как жена, как внуки?
- Тьфу-тьфу-тьфу... Все работают... Про фото не забудь...

Папа сделал фото. Не сразу. А потом, позже. Григорий Аронович уже умер. Я нашел это фото через много лет, когда умер сам папа. Оно лежало в конверте с надписью "Гойхман". Я присмотрелся к снимку, и мне показалось, что это и вправду, несколько веретенообразных гойхманов. Во фраках и с моторчиком, все еще вертящимся в моей памяти, но тоже уже потихоньку сбавляющим обороты...

Красные полотнища на облупленных фасадах старинных домов с утра горбатились парусами и опадали безвольной мотней поверх оконных проемов и разбитой лепнины. Прилизанные бороды и усы вождей по воле ветра грозно напрягались, и, казалось, вот-вот могли лопнуть от натуги, но щадящая стихия тотчас сплющивала набухшие щеки и выпяченные глаза. Лишь портреты в рамах, замершие в парадных минах, горделиво трепыхались под пощечинами и поглаживаниями весеннего воздуха.

На далеком небе, оторванном от земных забот, клочками взбитой ваты чинно покачивались редкие облака и бесстрастно озирали черно-белую твердь, принаряженную молодой зеленью.

Там, внизу, у самого вокзала, не доходя до гранитного идола с вытянутой рукой, потоки людей под дубасящий грохот духовых оркестров вливались из множества улиц в одну разбухающую колонну. Колонна ползла к деревянным трибунам, на которых со штампованными лицами, окаймленными "полубоксом", разместились городское руководство — на возвышении в центре — и те, что помельче, — на нижних боковых ярусах. Нижние ревниво поглядывали на верхних, а верхние торжественно взирали на колышущуюся у их ног многоликую реку. Временами одна из центральных фигур, одетых в длинные мышинные макинтоши и зеленые велюровые шляпы, с энтузиазмом махала рукой и выкрикивала в пузатый микрофон лозунги в честь любимого друга народов, любимой партии, любимой армии, любимой промышленности и многих других любимых... Горожане с вывернутыми шеями замедляли шаг, орали "ура" и с любопытством разглядывали живых начальников. Миновав трибуны, колонна расплескивалась на быстрые ручейки, которые устремлялись по боковым улочкам и переулкам назад, к старой части города.

Далеко позади, на круглой площади, толпа ленивой гусеницей растеклась по мостовой вокруг развороченного пьедестала от снесенного памятника Екатерине Великой, и дальше по мосту над припортовым спуском — до самого Нового базара. Громыхали производственные оркестры, выдувая из медной утробы радостные всплески маршей. В просветы звукового шквала врывались крики детей, свист "уди-уди", голоса взрослых и нахальные шалости одиноких гармоней. Пахло дешевой парфюмерией, потом, разлитым ситро и густым сапожным кремом. Весеннее солнце все решительнее заяв-

ляло свои права на шеи и подмышки, а сникшего к полудню ветра хватало только на ленивое перекатывание по земле шелухи подсолнуха, лопнувших надувных шаров и конфетных оберток. Люди маялись от безделия, лужгали семечки, перебрасывались шутками и обмахивались газетами. Минут через сорок многоядная масса с облегчением зашевелилась и медленно потянулась вперед. На круглой площади дали команду продвигаться к вокзалу.

Под мостом, из открытого окна на третьем этаже когда-то желтого дома разносился сиплый голос пластинки. У ворот на низкой табуретке сидела сдобная толстуха Клавка. Она старательно подвывала "как хорошо на свете жить..." и застиранным фартуком ритмично обмахивала дородную грудь. Просунув ладони под вырез лишнего платья, Клавка тыльной стороной остужала вспотевшую плоть, а потом опять принималась тереть фартук вверх-вниз... вверх-вниз... Перед нею, на расстеленной газете, стояли три полотняных мешочка с семечками трех сортов. В самом большом лежали три граненых стакана разной величины, из которых она отоваривала покупателей на пятнадцать, десять и пять копеек. При каждом ее подвывании воробьи, сновавшие вокруг, откатывались на несколько метров и снова подскоком приближались к мешкам. Рядом с Клавкой, согнувшись над самой землей, сопел Мишка-Обрубок, безногий инвалид на квадратной доске с подшипниками по углам.

— Михайло, слышь, башкой стукнешься! Кыш! — Клавка всплеснула руками, чтобы отогнать нахальных птиц. Обрубок вздрогнул, открыл набрякшие мутные глаза и втянул в рот повисшую на губах слюну. Распрямившись, он привычно подхватил помятую оловянную кружку с несколькими монетами и затряс ею изо всех сил: — Подайте герою войны! Люди добрые, подайте на пропитание защитнику родины! Пожалте безногого моряка героического морского флота...

В проеме окна на втором этаже, над самой подворотней, показалась молодая женщина. Облокотившись о подоконник, она вполголоса попросила: — Пожалуйста, не кричите... здесь больная спит...

Обрубок закатил глаза и злобно завизжал: — Не хер меня учить! Меня, инвалида войны... ты, блядь, закопать мало... подстилка фашистская!

Вдруг по его отекающему лицу пробежала ухмылка. Он зажмурился и чмокнул губами: — Давай, Клавка, закурим!

Клавка вытянула из замусоленного лифчика пожеванную пачку папирос, прикурила две сразу и воткнула одну в рот Обрубку. Он перекатил папиросу в угол рта, затянулся с присвистом, покачался из стороны в сторону и почти беззлбно пробурчал:

— Жидовка!

Голова молодой женщины дернулась... и беззвучно втянулась в комнату. Обрубок откатился от Клавки, опустил кружку на землю и подхватил обшарпанную гармонь. Не выпуская папиросы изо рта, он загорланил "раскинулось море широко..." и самозабвенно выжал визгливые ноты из растянутых мехов.

— Тьфу ты, блядь, разорался! — Клавка подлом фартука отерла потную шею, — закопать... подстилка... Да не было ее тута... Они ж евреи... она с дитем и слепой мамашей в Сибири жила...

Обрубок кивал головой в такт нестройным звукам. На секунду он замер, сжал гармонь, вытянул изо рта папиросу и сплюнул под себя: — В Сибири бы и сидела! Не хрен было ворочаться... Их судой никто не звал...

— Балда ты, Михайло... как пить дать — балда... Сдались они тебе... Шо ты к ним привязался?

— Привяза-а-лся, — перекинул ее Обрубок, — защитница хренова... А кто при румынах жидовское добро из ихних фатер таскал? Нашлась добренькая... застыдила меня... А сама — негде пробы ставить! С немчурой выблядка кто прижил? Вот то-то... слопала, жирное жопало?..

Обрубок снова сплюнул и, поводя плечами, вызывающе уставился на Клавку. Клавка вскочила. Табуретка с шумом полетела на землю. Лицо Клавки сделалось красным, глаза сузились. Она отбросила папиросу и с зажатыми кулаками горой вздыбилась над Обрубком.

— Ах ты, рожа паскудная! Ты-то... ты-то... на что ты годеи? Ни мужик, ни баба! Напха-а-л! Мне?.. Да?.. Сволота вшивая!.. Я жить должна была... детей растить... Жорку, царство ему небесное, лечить надо было... Ты, что ли, о них думал? Пьянь сучья!

Клавка вдруг ухватила левой рукой за грудь и тяжело задышала... Когда сердце отпустило, она зло посмотрела на Обрубка и поднесла фигу к самому его лицу:

— Во! Ты у меня теперь получишь... и водочки стаканчик, и селодочку с картошкой! Как же! Приглашу! Держи карман шире! Дерьмо недорезанное!..

И Клавка больно ткнула Обрубка в лоб. Обрубок растирал рукой лоб и жалостливо тараторил: — Ну, ладно те... ну, сказал... сама виновата... вишь, я не в себе, а ты меня сверлишь и сверлишь... Я с войны калекой вернулся... по госпиталям и помойкам околачиваюсь, а они чистенькие и целенькие уехали и приехали... жидоки!

Обрубок умолк... и вдруг ни с того ни с сего заплакал. Он размазал грязные подтеки по лицу, потом закашлялся и скрючился в жалкий комок, сотрясаемый всхлипами и насадными вывертами гортани. Клавка наклонилась к нему и стала то ли поглаживать, то ли постукивать по спине. Понемногу кашель затихал. Обрубок шмыгал носом и водил по кадыку грязной ладонью. Наконец, он пришел в себя и просипел:

— Они, Клавка, в теплом Ташкенте отсиделись, а теперь пожаловали... Враги они, Клавка!.. Ты газеты читаешь? Там написано, кто они есть... Как это слово?.. Космополисты! Вот! Вспомнил!

С моста неожиданно обрушился вальс "Амурские волны". Клавка поглядела наверх и поморщилась от шума. Она снова отерла фартуком шею и грудь, подобрала табуретку и поставила ее в тень. Тяжко охнув, она опустила свое большое тело и села: — Чистый балда! Ты-то хоть наполовину вернулся, а эта молодая мужа потеряла в самом начале войны... только два месяца и пожила с ним... А отец ее был военхирург... он с ранеными в Севастополе остался, так его немцы с ними же и пришили... а мог спастись...

Клавка отогнала назойливых птиц. Из окна сверху снова засипело "сердце...", и Клавка стала подпевать...

— Ты откуда про них знаешь? — Обрубок залез пальцем в рот, чтобы выковыривать крошку табака, застрявшую в зубах. — Плакалась она тебе, видать! А ты сразу жалостливая... слезки брызнули... Знаешь, сколько у них золота притырено? — Обрубок пытался сложить обе ладони, как бы прикидывая, сколько же показать. — Ты, Клавка, за ихнюю долю переживаешь, а они все падлюки, Клавка... падлюки... так шо ты на меня зря поперла... не жалеешь ты меня...

Клавка зачерпнула пригорошню семечек и стала забрасывать их в рот по одной. Скорлупу она сплевывала в левый кулак.

— От ты скажешь, Михайло! Как же я тебя не жалею? Да, я всех жалею... и тебя, дурака, жалею и детей моих и себя... и барынесу... Помру я скоро, Михайло... Страшно мне... за детей страшно...

Клавка смахнула слезы и высморкалась в кусок газеты. Покивала молча головой, а потом повернулась к Обрубку и сказала:

— И никакого золота у евреев нет. Эта молодая одну только обручалку носит. Она ее в Сибири у поляков на харч выменяла. Мне Ксения Адамна рассказала...

— Это кто такая? — спросил Обрубок.

— Так ведь барынеса! Я ж тебе говорила про нее. Помнишь? Про фотки ее рассказывала... Красивая была!..

— А при чем она к жидам?

— Как при чем? Она же им родня по брату... ну тот, которого убили в начале войны. Он на евречке женился, и сразу на фронт его забрали... Полина ее зовут...

— Кого Полина зовут?

— Как кого? Евречку эту молодую... Она за младшего брата барынесы вышла замуж перед самой войной... Теперь понял?

— А...а... понял... — Обрубок закивал головой, — а эта Ксения одинокая, что ли?

— Вроде есть у нее еще один брат... старший... да только вроде и нету его... Конструктор он чего-то там в Москве... генерал!.. Тоже как бы из бывших, только наш... Ксения Адамна, значит, после лагеря приехала к нему погостить, а жена его ей говорит, мол, ты сама должна понять, что жить у нас не можешь, потому что мужа твоего хлопнули, и сама ты лагерная... и все мы через тебя пострадаем... Ну, тогда Ксения Адамна уехала от них и приехала к Полине... Вот... А тут в ихней коммуналке померла чахоточная... гм-гм... и Ксения заняла ейнюю комнату...

Клавка икнула раз, другой... и потянулась к бутылке с водой.

— Какая чахоточная? — настороженно спросил Обрубок.

Клавка сбросила скорлупу из левого кулака в бумажный кулек и отерла руки о фартук: — Какая?.. Какая?.. Да, Юлька твоя, с которой у тебя до войны было... только барынеса тоже долго не протянет... Веер мне с перламутрой подарила, а на кой хрен он мне?.. еще поясок кожаный с пряжкой из чистого серебра... так он на мне и не сойдется никогда... может, Маринке моей будет, как подрастет... теперь таких не бывает... Шо они гремят на мосту как скаженные?

Обрубок не слышал ее. Он замер в неестественном наклоне и с неподвижным взглядом шептал: — Юлька померла... Юлька померла...

Клавка удивленно посмотрела на него и пожала плечами: — Ну, еще в прошлом году померла... Я ж тебе говорила... ты тогда в госпитале лежал...

— Не помню... ты мне не говорила... я этого не знал... это ты случайно проговорила... Жалко как Юльку!

Обрубок уронил голову и начал медленно раскачиваться на доске... лицо его искривилось, а невидящие глаза уперлись в далекую точку в глупине земли...

Клавка смотрела на него, понимающе кивала головой и покусывала губы. Через несколько минут она откашлялась и наигранно спросила:

— Так что, рассказывать про барынесу?  
— Как хочешь,— бросил Обрубок,— шо мне до этой старухи?  
— Да какая ж она старуха, Михайло? Ей только пятьдесят ... Ты бы видал ейные фотки. Одна особенная, на толстой кардонке... Она в пятнадцатом с офицериком снята... молоденький такой... хорошенький... Ты не поверишь, не то племянник Вранхелю, не то двоюродный брат... Она за того барончика вышла в двадцать первом, а в двадцать восьмом его пришили за какой-то там заговор, а ее выслали... дите забрали в детдом, а оно заболело в детдому и померло... потом в тридцать шестом отправили ее в тюрюгу... ей повезло, что в тридцать шестом, а не в тридцать седьмом, так она говорит... Какое ж повезло, если упекли ее на десять лет в лагерь?.. Давай еще по сигарке? А, Михайло?

Клавка пальцем раздвинула сплюснутую пачку и вытолкнула из нее смятую папиросу. Обрубок разгладил папиросу, продул ее и чиркнул спичкой. Он затянулся, перевел взгляд на Клавку и ухмыльнулся: — А ты, небось, глаз на ее добро положила?

— Трещило ты, Михайло. Тебе только б молоты! Какое там у нее добро! Юлькина железная кровать, этажерка с фотками и сундук с барахлом. Одно название "барыня", а на самом деле такая же нищенка, как Фроська. Только Фроська не из бывших, и никому до ней нет дела... а за барынесой в прошлую среду ночью опять приходили... Потоптались у ее кровати, пошептались и отправили посыльного в свою контору, а к утру совсем ушли. Я у барынесы в четверг утром прибирала, так она мне говорит: "Смерть выше жизни..." Я шо-то в толк не возьму. Ты как думаешь, Михайло, шо она хотела сказать? Мне неловко было ее спрашивать. Шибко она хворая...

— А хрен с ней, Клавка! Шо ты об ней стоко кудахчишь? Бывшая она, одним словом, а с бывшими одна холера! У них хоть в прошлом было... Шо говорить? Нема жизни! Да...а... и Юльки нема... Ладно, я в нору пополз. Дай еще парочку сигарок про запас. Слушай, сходи в магазин к вечеру, купи мне две пачки. Я тебе деньги потом верну. Ну, я отвалил... Сегодня ни хрена не подают... и потом жарко торчать здесь, а в подвале у меня в самый раз! Бывай, подруга!

Обрубок вздохнул, запрокинул гармонь за спину, сунул кружку за обшлаг засаленного бушлата и оттолкнулся от земли короткими деревяшками, зажатыми в обеих руках. Самокат загрохотал по булыжникам в подворотне... Вскоре все затихло, но ненадолго. Патефон на третьем этаже ожил, и опять из него выплеснулась все та же хрипая песня Утесова.

Клавка, кряхтя, согнулась, подобрала две монеты, оброненные инвалидом, и опустила их в мешочек для выручки, привязанный к платью под фартуком. Она и не заметила, как подбежал белобрысый мальчонка с красным шаром и маленьким флажком. Он протянул ей монету: — Мне серых, баба Клава.

Клавка перегнулась через все складки необъятного живота, зачерпнула серых семечек, присыпала малость сверху и опорожнила маленький стакан в бумажный кулек.

— На, хороший ты мой, грызи на здоровье, и мамке от меня привет передай. Передашь?

— Ага! — мальчик подхватил кулек и побежал вниз по спуску. Клавка смотрела задумчиво на подпрыгивающий красный шар, пока он не исчез за развалинами на самом краю спуска. Она вскинула глаза на третий этаж и старательно затянула "...спасибо, сердце, что ты умеешь..." Вдруг умолкла и прислушалась: из двенадцатой квартиры над дворовой уборной разносилась пьяная брань Кольки-милиционера, а потом покатился крик его жены Лизки-Мопсихи: — Помогите! Убивают! Сука!.. — и еще что-то неразборчивое и громкий плач...

По выходным Колька лупил Лизку то ли от скуки, то ли по привычке. И Лизка орала больше по привычке, потому что с болью уже давно свыклась. К тому же и Колька иногда от нее получал будь здоров! Однажды даже вызвали скорую, и Кольке наложили швы на скулу. Клавка помотала головой: — А все ж с мужиком. Утром побьются, а вечером полюбятся.

Она разгладила газету на коленях, пробежала глазами надписи к фотографиям на первой странице и начала старательно разрывать ее по складкам на заготовки для кульков. Со стороны Нового базара приближались гулкие удары нового марша: к мосту подходило пополнение.

Клавка неожиданно замерла и оглушительно чихнула. Испуганные воробьи стремительно разлетелись по деревьям. Даже собака за мостом перестала гавкать.

— К правде, — пробормотала Клавка и утерла фартуком нос. — К правде,— повторила она. — А к какой такой правде, мать ее?.. А к газете "Правде"! Вот!

И слоеное тело Клавки мелко затрясло от смеха.